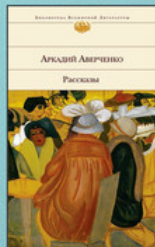


Аркадий Аверченко

Двенадцать портретов (в формате «будуар»)



*Часть сборника
Рассказы*



Аркадий Тимофеевич Аверченко

Двенадцать портретов (в формате «будуар»)

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=619085*

Аннотация

«Эта книжка портретов – нечто среднее между портретной галереей предков и альбомом карточек антропометрического бюро при сыскном отделении.

Во всем том, что происходит в России, чрезвычайно большую роль сыграл Александр Керенский. Поэтому я и отвожу ему в своей портретной галерее целых три места.

Я не дал портретов Ленина и Троцкого, потому что эти два знаменитых человека и так уже всем навязли в зубах.

Вместо них я даю портреты их жен. Это – элегантнее и свежее.

...»

Содержание

От автора	4
Мадам Ленина	5
Мадам Троцкая	10
Феликс Дзержинский	15
Петерс	18
Максим Горький	23
Федор Шаляпин	28
Керенский	35
Керенский	41
Керенский	48
Балтийский матрос	55

Аркадий Аверченко

Двенадцать портретов (В формате «Будуар»)

От автора

Эта книжка портретов – нечто среднее между портретной галереей предков и альбомом карточек антропометрического бюро при сыскном отделении.

Во всем том, что происходит в России, чрезвычайно большую роль сыграл Александр Керенский. Поэтому я и отвожу ему в своей портретной галерее целых три места.

Я не дал портретов Ленина и Троцкого, потому что эти два знаменитых человека и так уже всем навязли в зубах.

Вместо них я даю портреты их жен. Это – элегантнее и свежее.

Как я ни хитрил, а в заключение должен признаться, что из всей портретной галереи мне симпатичнее всего последний портрет – балтийского матроса, в лице Шкляренко и Бондаря...

Аркадий Аверченко

Мадам Ленина

Лошадь в сенате

Был в Риме такой человек по имени император Калигула, а по характеру большой чудак... Была у Калигулы лошадь, которую он до того любил, что однажды приказал Сенату выбрать ее в сенаторы.

Ну раз такой человек, как Калигула, приказывает – ослушаться неловко: обидится.

И выбрали лошадь в сенаторы.

И сидела она в Сенате.

* * *

Вся деятельность российских правителей заключается теперь в «затыкании за пояс» и «утирании носа». Заткнули за пояс Нерона. Заткнули за пояс Иоанна Грозного. Утерли нос испанской инквизиции. Утерли нос Варфоломеевской ночи.

* * *

А совсем недавно очень искусно утерли нос и заткнули за пояс и лошадь Калигулы.

Да и в самом деле, что такое лошадь Калигулы? Мальчиш-

ка и щенок! Сидела она смиренно, положив передние ноги на стол, и если пользы никакой не приносила, то и особого вреда не делала.

В Советской России появилась новая лошадь Калигулы – мадам Ленина, жена правителя.

Да что одна лошадь Калигулы!

Перед мадам Лениной побледнеет целый табун римских лошадей.

Газеты эпически рассказывают, что сделала эта активная «лошадь, допущенная в Сенат».

Во время первомайских торжеств около пятисот детишек, предводительствуемых новой лошадью Калигулы, – все это, кроме лошади, оборванное, голодное, истощенное – отпра- вились на прогулку в авиационный парк.

Раз все обыкновенные парки для прогулок вырублены – ясно: лошадь должна вести своих маленьких пленников в авиационный парк.

Когда будут разобраны на дрова все обыкновенные театры – Лошадь отведет свое маленькое умирающее войско в анатомический театр.

В парке погуляли, подышали бензиновым воздухом, потом Лошадь выстроила свою босоногую команду и спросила:

– Хотите ли вы, детки, конфет? – Только тихий стон пронесся по рядам. – Ну вот. Если хотите, то становитесь на колени и просите у вашего бога конфет.

Бедные запуганные, затурканые дети опустили на ко-

лени и завопили в небо:

– Боженька, дай нам конфект!

Лошадь сделала пятиминутную паузу и потом, хитро усмехаясь, проржала:

– Вот видите – какой же это боженька, который не исполняет вашей просьбы... Это все один обман. А теперь станьте на колени и скажите: «Третий Интернационал, дай нам конфект!»

Петербургские детишки теперь такой народ, что если ты их заставишь просить конфект у бурой свиньи гоголевского Ивана Никифоровича – они и тут покорно станут на колени.

Опустились детки на колени и, простирая руки, завопили в небо:

– Третий Интернационал! Дай нам конфекток!

И что же? О чудо! Сейчас же неподалеку поднялся аэроплан, закружился над детишками и стал осыпать их плохими паточными леденцами. Дети боролись, возились и дрались на грязной земле, чтобы больше захватить драгоценного лакомства, а Лошадь из Сената стояла тут же и, довольная, радостно ржала.

А еще вот для Лошади хороший рецепт: взять голодного ребенка и с помощью хорошей розги выдрессировать для следующей штуки: положив на нос кусочек белой булки, сказать:

– Во имя божие – ешь!

Выдрессированный ребенок стоит, как каменный, и смот-

рит на вас собачьими глазами.

– Во имя справедливости и милосердия – ешь!

Стоит ребенок, как каменный.

– Во имя Третьего Интернационала – пиль!

Кусочек булки моментально взлетает и через секунду хрустит на голодных зубах.

Вот настоящая забава – даже не для самого Калигулы, а для его Лошади... Калигула просто зарежет ребенка, но не станет над ним измываться.

* * *

Интересно, когда Лошадь после праздника вернулась в свою роскошную конюшню, пришла ли ей хоть на секунду в убогую лошадиную голову такая мысль:

«Мы издеваемся над именем Божиим и топчем Его в грязь. А Он нас не наказывает – значит, Его нет».

И если она это подумала, то наружно в этот момент ничего не случилось, гром не загредел, молния не засверкала и потолок не расплющил Лошади.

Но где-то в беспредельной высоте и глубине взметнулся невидимый жесткий и сухой бич и хлестнул поперек всея России...

Земля потрескалась, злаки приникли к раскаленной почве, и двадцать миллионов народа – того народа, который допустил среди себя хулу и унижения бога, – поползли с род-

ных мест неведомо куда, устилая трупами сухой проклятый
путь свой...

Мадам Троцкая

Шапка Мономаха

Сегодня мадам Троцкая никого не принимает. У нее с утра мигрень, кислое настроение, и даже ее постоянные посетители, два Аякса – Клембовский и Гутор, просидевши в передней сорок минут – уехали, не повидав своей повелительницы.

Только когда доложили о приходе ее любимца – генерала Парского, мадам Троцкая немного оживилась и приказала просить.

– Ах, мой женераль, – протянула она, капризно выпятив губки, – у меня сегодня такое настроение, что впору самой к стенке стать.

– А что такое? – озабоченно спросил Парский, склоняясь к протянутой ручке.

– Скучно. Мне чего-то хочется, а чего – и сама не знаю. Знаете что, генерал. Я хочу, чтобы вы устроили мне двор.

– А что? Опять грязь развели, каналы? Сегодня же прикажу вымести и убрать пустые ящики.

– Какой вы смешной, мой женераль. Я вам не о таком дворе говорю, который из окна виден, а о настоящем придворном дворе. У нас при дворе нет настоящего блеска, настоящего изящества, а Леве хоть кол на голове теши – никакого

внимания. Я пробовала сама что-нибудь сделать – ничего не выходит.

– Да, это трудно, – призадумавшись, отвечал Парский.

– Еще бы. Вы знаете, я основала благотворительное общество Красного Креста и попросила назначить себя почетной председательницей и покровительницей – а что вышло? На первом же торжественном заседании секретарь общества стащил у меня соболий палантин и выменял на полпуда сахару.

– Неужели только полпуда дали? – оживился Парский.

– Ах, мой генераль, вы совсем не тем интересуетесь, чем надо. Полпуда или пуд – сэт эгаль¹. Пришло мне позавчера в голову – иметь своего придворного поэта – помните, как Мольер был. Я и позвала Маяковского. Посидел полчаса, выпил полторы бутылки коньяку, набил все карманы печеньем, обкусал ногти, плюнул три раза на ковер и ушел, даже не попрощавшись. Неужели и Пушкин и Лермонтов были такие? Генерал, устройте мне двор!

– Понимаете, это очень сложная вещь. Нужно, чтобы было много блестящей молодежи... У вас есть родственники?

– Конечно, есть. И в Житомире есть, и в Елисаветграде. Один племянник Сеня – он на станции Одесса-Товарная с хлебом работал – на днях заявляется ко мне и просит: «Тетья, – говорит, – вы теперь совсем как королева – сделайте меня виконтом». «Сеня, – говорю я ему, – какой из тебя мо-

¹ Это все равно (*фр.*).

жет быть виконт, когда ты каучуковые воротнички носишь и у тебя всегда под носом красно». «Тетя, – говорит, – когда буду виконтом, вместо линолевых воротничков надену жабо, а что касается красного, так вы же сами знаете, что у меня хронический насморк».

– Да, – задумчиво покачал головой Парский. – Этот, пожалуй, на роль петиметра не подойдет.

– Ну разве же это не обидно? Теперь, когда мой Левочка разговаривает с державами Согласия, заложив ногу на ногу, а руки в карманах – так для этого же нужен пышный блеск. А где он? Нужна придворная жизнь, а где она? Мадам Каменева советовала мне: «Фаничка, – говорит она, – Фаничка! Набери себе побольше фрейлин, и чтобы они присутствовали при твоём ложении и вставании». Это легко сказать – набери. А как я с ними должна обращаться – я и не знаю. Могу я послать ее сбегать в Предком за сотней папирос, или для этого паж должен быть? Должна я с ними здороваться за ручку или они мне должны целовать ручку? Прямо-таки целый ряд тяжелых неразрешимых вопросов. Генерал, устройте мне двор.

– А вы хотели бы, приблизительно, в стиле какой эпохи?

– Что бы вы сказали про наполеоновский? Пышный двор, все маршалы из солдат, Лева ходит одетый в лососиновые штаны, а у меня талия высоко-высоко, совсем под груди. Мадам Каменева говорила мне: «Фаничка, вам это замечательно пойдет».

– А может быть, вам больше улыбается Екатерининская эпоха? – тоном модного портного, предлагающего ходкий фасончик, сказал Парский.

– Это тоже ничего себе эпоха. Фижмы, парики, граф Зубов. И мне нравится, что Екатерина переписывалась с Дидро и Вольтером. Я тоже, знаете, попробовала написать Анатолю Франсу, да ответа не получила. Или марку забыла наклеить, или тогда почта была лучше, чем теперь. А Луначарский даже обещал, что Пролеткульт издаст мою переписку с Анато-лем Франсом. Послушайте. А что вы скажете о дворе Людо-виков?

– Хорошие были дворы, – похвалил Парский.

– И знаете, вы были бы моими тремя мушкетерами: вы, Гутор и Клембовский.

– А знаете, вы действительно напоминаете лицом Анну Австрийскую.

– Серьезно? Мерси. Ах, герцог Букотам, ах, бриллианто-вые наконечники! А Дзержинский был бы кардиналом Ри-шелье... Да... Только ведь Людовики плохо кончили. Я не хотела бы для Левы такой карьеры.

– А не хотите Людовиков – возьмите эпоху Цезарей. Вот была красота, вот блеск! Устройте цирк на сто тысяч человек и скажите Дзержинскому, чтобы он, вместо своего дурачко-го «к стенке», выпускал на саботажников диких зверей. Же-стоко, но красиво.

– А где же Дзержинский диких зверей достанет? Гамбург-

ский Гагенбек на товарообмен не пойдет.

– А в Зоологическом?

– Ну действительно. Все хищные давно передохли. Остались одни филины да павлины. Так если этих зверей выпустить на голодных буржуев, так не звери их съедят, а они зверей слопают. И потом эпоха Цезарей не для нашего климата...

– А кстати, о климате. Вы мне прошлый раз обещали дать записочку на два пуда дров.

– Да ведь вы в прошлом месяце уже получили.

– Не понимаю, чего вы жметесь, ваше королевское величество. Ваши предки раздавали придворным, поддерживавшим их престол, целые города, поместья и леса, а из вас дюжину поленьев нельзя вытянуть... Пишите записку!

– Ах, мой генераль! Недаром нам, правящим сферам, приходится часто восклицать: «Как тяжела ты, шапка Мономаха!» Довольно с вас будет и пудика.

Феликс Дзержинский

Кобра в траве

Знаменитый советский чекист и палач Феликс Дзержинский, по словам газет, очень любит детей. Он часто навещает детишек в одном из приютов, находящихся в его ведении, и всегда нянчится с малютками.

В детском приюте – ликование:

– Дядя приехал! Дядя Феликс приехал!!

– Тише, детки, не висните так на мне. Вишь, ты, пузырь, чуть кобуру не порвал. Здравствуйте, товарищ надзирательница. Ну как поживают мои сиротки?

– Как сиротки? Что вы, товарищ Дзержинский! У них у всех есть отцы и матери.

– Хе-хе. Были-с. Были да сплыли. Этого беленького как фамилия?

– Зайцев.

– Ага, помню. Это совсем свеженький сиротка. С позавчерашнего дня. Впрочем, папочка его держал себя молодцом. Не моргнул папочка. Как его зовут? Кажется, Володя? Володя! Хочешь ко мне на коленку? Покатаю, как на лошади. Вот так. Ну целуй дядю. А это что за дичок? Почему волчонком смотришь?

– Это Чубуковых сынишка. Все к маме просится.

– Это какие Чубуковы?.. Ах, помню! Она какие-то заговорщицкие письма хранила. Преппикантная женщина! И с огоньком... Мой помощник хотел за ней во время допроса приволокнуться, так она, представьте, полураздетая – прыг в окно да вниз. Вдребезги! Передайте от меня сынишке шоколадку. Ну а ты, карапуз? Как твоя фамилия?

– Федя Салазкин.

– А, Салазкин! Твой папа, кажется, профессором?

– Н... не знаю. Его зовут Анатолий Львович.

– Во-во. В самую точку попал. Бойкий мальчуган и, кажется, единственный – не сиротка. Ты по воскресеньям-то дома бываешь?

– Бываю.

– А папа письма какие-нибудь получает?

– Получает.

– Что за прелестный ребенок! Так вот, Федя, когда папочка получит письмецо – ты его потихоньку в кармашек засунь, да мне его сюда и предоставь. А я уж тебе за это, как полагается: и тянучка, и яблоко, румяньенькое такое, как твои щечки. Только мамочке не проболтайся насчет письмеца, ладно? Ну пойді попрыгай!.. А ты, девочка, чего плачешь?

– Папу жалко.

– Э-э... Это уже и не хорошо: плакать. Чего ж тебе папу жалко?

– Его в чека взяли.

– Экие нехорошие дяди. За что же его взяли?

– Будто он план сделал. А это и не он вовсе. К нам приходил такой офицерик, и он с папочкой...

– Постой, постой, пузырь. Какой офицерик? Ты садись ко мне на колени и расскажи толком. Как фамилия-то офицера?..

– Какая у тебя красивая цепочка. А часики есть?

– Есть.

– Дай послушать, как тикают.

– Ну на. Ты слушай часики, а я тебя буду слушать.

– Постой, дядя Феликс! Ты знаешь, у тебя точно такие часы, как у папы. Даже вензель такой же... и буквочки. Послушай! Да это папины часы.

– Пребойкая девчонка – сразу узнала! Твой папочка мне подарил.

– Значит, он тебя любит?..

– Еще как! Руки целовал. Ну так кто же этот офицерик?

* * *

Уходя, дядя Феликс разнеженно говорил:

– Что за прелестные дети, эти сиротки! Только с ними и отдохнешь душой от житейской прозы...

Петерс

Человек, который убил

Есть такие классические фразы, которые будут живы и свежи и через 200, и через 500, и через 800 лет. Например:

– Победенным народам нужно оставить только одни глаза, чтобы они могли плакать, – сказал Бисмарк.

– Государство – это я! – воскликнул Людовик XIV.

– Париж стоит мессы, – рассудил Генрих IV, меняя одно верование на другое.

Впрочем, этот король показал себя с самой выгодной стороны другим своим альтруистическим изречением:

– Я хотел бы в супе каждого из моих крестьян видеть курицу!

Мы не знаем, что хотели бы видеть в супе каждого из своих крестьян Ленин и Троцкий, но знаменитый глава чрезвычайек Петерс выразился на этот счет довольно ясно и точно, и изречение его мы считаем не менее замечательным, чем генриховское.

Именно, по сообщениям газет, когда к нему, как к главе города, явились представители ростовских-на-Дону трудящихся и заявили, что рабочие голодают, Петерс сказал:

– Это вы называете голодом?! Разве это голод, когда ваши ростовские помойные ямы битком набиты разными отбро-

сами и остатками?! Вот в Москве, где помойные ямы совершенно пусты и чисты, будто вылизаны – вот там голод!

Итак, ростовские рабочие могут воскликнуть, как запорожские казаки:

– Есть еще порох в пороховницах! Есть еще полные помойные ямы – эти продовольственные склады Советской власти!

Почему-то фраза Петерса промелькнула в газетах совершенно незаметно: никто не остановил на ней пристального внимания.

Это несправедливо! Такие изречения не должны забываться...

Моя бы власть – да я бы всюду выпустил огромные афиши с этим изречением, высек бы его на мраморных плитах, впечатал бы его в виде отдельного листа во все детские учебники, мои глашатаи громко возвещали бы его на всех площадях и перекрестках:

– Пока в городе помойные ямы полны – почему рабочие говорят о голоде?..

* * *

Интересно, осматривал ли Г. Д. Уэллс во время своего пребывания в Москве – в числе прочих чудес советской власти – также и помойные ямы?

Если осматривал, то, наверное, пришел в восхищение:

– Вот это санитария! Вот это чистота! Да на дне этой помойной ямы можно фокстрот танцевать, будто на паркете.

– А у нас, в Англии, в помойных ямах делается черт знает что: огрызки хлеба, куски рыбы, окурки сигар, птичьи потроха, высохшие сэндвичи, корки сыру! Нет, советская власть имеет большое, великое будущее, если даже в грязной, неряшливой Москве она ввела такую идеальную чистоту!

* * *

Интересно мне также, как тов. Петерс будет организовывать продовольственную помощь из помойных ям? Выдачу пайками? Но ведь пайки бывают трех или четырех категорий.

Очевидно, в первую голову будут допущены к пышному фрыштику² рабочие-коммунисты – первая категория. Когда они снимут самые сливки – селедочные головки и колбасную кожуру, – робко подойдет вторая категория, просто рабочие. Выберут картофельную шелуху и мостолыгу лошадиной ноги, а все остальное пусть доедает третья категория – буржуи и саботажники.

² Завтраку (искаж. нем. frühstück).

* * *

Если бы я был не писателем, а тюремщиком, и если бы Петерс попал ко мне в тюрьму, я устроил бы ему роскошную жизнь! Я кормил бы его до отвала. Я бы каждый день закатывал ему обеды из семи блюд, со сладким.

Он бы у меня не голодал, ибо он сам замечательно выразился:

– Пока существуют помойные ямы – голода не может быть!

Меню бы у Петерса было такое:

Закуска:

Икра из ваксы, жестянка от анчоусов, яичная скорлупа, фаршированная зубочистками обернуар.

Суп:

Консоме из мыльной воды а-ля Савон с окурками, пирожки из папиросных коробок с пепельным фаршем...

Рыба:

Селечный позвоночный столб с грибочками, которые на стенках.

Мясо:

Фрикассе Ра-Мор, жаренное на шкаре в мышеловке.

Зелень:

Все, что уже позеленело. Приготовлено а-ля масседуан.

Птица:

Перо от старой дамской шляпы, соус сюзрем.

Сладкое:

Шоколадные обертки, яблочная кожура, кофейная гуцца.

* * *

Я не думаю, чтобы Петерс имел право отказаться от такого обеда.

Потому что, если даже такие великие люди, как Наполеон, Суворов и Петр Великий, честно ели пищу из общего котла, то какое имеют право отказаться от общего котла наши циммервальдские Наполеоны, устроившие из всей Великой России один общий котел:

Помойную яму.

Максим Горький

Хлеб в выгребной яме

У Максима Горького есть один рассказ, который заканчивается так:

– Море смеялось.

Ах, многоуважаемый, талантливый Алексей Максимыч! Что там море! Недавно вы сделали нечто такое, от чего не только море – сухая потрескавшаяся русская земля могла рассмеяться до истерики, деревья в лесу, нагибаясь к земле и держась ветками за ствол, скрипели от душившего их смеха, мелкие рыбешки в реке вздулись, полопались и поиздыхали от хохота...

Ах, как вы можете рассмешить, Алексей Максимыч!..

Если рассказать вульгарной прозой то, что сделал знаменитый пролетарский «буревестник», так вот как оно звучит:

Без малого четыре года буревестник, «ломающая крылья, теряющая перья» от усердия, – без малого четыре года славословил буревестник советскую власть.

Державинские хвалебные оды казались щенками перед тем огромным распухшим слоном, коего создал Максим Горький, написав ликующую, восторженную оду Ленину...

В той компании привычных каторжников и перманентных убийц, которые правят Россией, Максим Горький был своим,

хорошо принятым человеком:

И в почетному углу
Было место ему...

Правда, он был только зрителем этого нескончаемого театра грабежей и убийств, но сидел он всегда в первом ряду по почетному билету и при всяком курбете лицедеев – он первый восторженно хлопал в ладошки и оглашал спертый «чрезвычайный» воздух мягким пролетарским баском:

– Bravo, bravo! Оч-чень мило. Я всей душой с вами, товарищи!

Он милостиво и снисходительно улыбался, когда его пыльные друзья половину интеллигенции, людей искусства и науки выгнали за границу, четверть – оптом поставили к стенке, а оставшуюся четверть, как кроликов, приготовленных для вивисекции, заперли в душные вонючие клетки, приставили к ним сторожем и «хранителем этого кроличьего музея» бывшего директора кафешантана Адольфа Родэ – все это Горький глотал даже не как горькую пилюлю, а подобно – да простят мне это сравнение – подобно той Коробочкиной свинье в «Мертвых душах», которая мимоходом съела цыпленка и сама этого не заметила.

И вот, когда несчастные ученые кролики, доведенные до этого положения на одну десятую, сотую, тысячную тем же Горьким, стали умирать от бескормицы, Горький растрогал-

ся, сердце его умягчилось и пошел он к финнам:

– Вот что, братцы... Там у нас в питомнике ученые содержатся, так того-этого... Мрут шибко! Не будет ли способности какого? Пожевать бы им чего, или из бельишка старенького, или там сапожишек. Подайте, Христа ради, знаменитым русским ученым и писателям!..

Растрогались сумрачные финны.

– Извольте, – говорят. – Мы вам дадим кой-чего для ученых, но так как все ваше начальство – воры и могут украсть для себя, то мы все собранное повезем сами.

Привезли в Дом ученых и писателей и стали делить:

– Александр Пушкин! Вам полусапожки и две банки сгущенного молока! Иван Тургенев! Получайте исподнее, фунтик сахару и четверку чаю. Выпейте за здоровье богатой и могучей Финляндии! Менделеев! Свиного сала фунт, банка какао и пиджачная тройка – совсем почти еще крепенькая!

Получили Пушкины, Лермонтовы, Менделеевы и Пироговы по сверточку, как дворницкие дети на богатой елке, и, сияющие от счастья, снова расползлись по своим клеткам.

Зашел потом Горький – тоже сияющий, – собрал всю обшарпанную компанию Гоголей, Островских и Лесгафтов и гаркнул:

– Ну что, ребята! Довольны тем, что я вам схлопотал?

– Много довольны, ваше пролетарское величество! – гаркнули в ответ полумертвые от голода ребята, прижимая к груди драгоценные сверточки.

– То-то и оно. Вы уж старайтесь, а я вас не забуду. Молочка там или фуфайку какую из сосновой шерсти – завсегда устрою.

– Благодарим покорнейше.

– А впрочем, что мне из вашей благодарности – шубу шить, что ли? Вы бы мне такой аттестатик выдали, адресок, где отписали бы, что так, мол, и так, чувствительно благодарны и не забудем по гроб жизни. А я его в рамочку да на стенку – пусть себе висит; вам написать – раз плюнуть, а мне приятно!

И вот тогда-то и появилась эта потрясающая «благодарность Максиму Горькому от имени писателей и ученых».

Писали, очевидно, голодные ученые эту благодарность, глотали соленые слезы, а сами думали:

«Черт с ним, напишем пожалостнее!.. Все-таки с Лениным за ручку здороваются и с Троцким на «ты». Поблагодарим, а он, может, опять по полфунтика колбасы выдаст да по связке баранок – оно, глядишь, дня три еще протянуть и можно...»

Голод – не тетка. Написали очень хлестко.

– Зарубежная эмигрантская Русь неправильно оценивает благородную работу Горького. Мы стоим ближе к делу и свидетельствуем...

Бедные вы, бедные... Свидетельствуете! А свободно ли вы свидетельствуете, знаменитые ученые кролики, запертые в вонючую клетку на предмет вивисекции?

И когда писали вы – не звучала ли в ваших ушах знаменитая фраза Сквозника-Дмухановского:

– А если приедет ревизор, да будет спрашивать – всем ли довольны, то чтоб отвечали «всем довольны»... А то я другому недовольному такое неудовольствие покажу, что...

Море смеялось...

Море смеется, Горький смеется, у Ленина, по свидетельству того же Горького, «мелодичный детский смех» – а нам всем отсюда, издали – плакать хочется...

Федор Шаляпин

Хамелеон

Некто переводил и объяснял слово «хамелеон» так: «Хамелеон – это хам, желающий получить миллион». Не совсем грамотно. Но, в общем, верно.

* * *

Одесские газеты сообщали:

«Во время исполнения в Мариинском театре оперы «Евгений Онегин» Ф. Шаляпин, певший Гремину, сорвал с себя офицерские погоны и бросил их в оркестр – в знак протеста против наступления белогвардейцев на Петербург».

* * *

Вот маленькая история, которая заставила меня призадуматься.

Ибо, как сказал Шекспир, «в этом безумии есть нечто методическое».

До сих пор все такие зигзаги Шаляпина объясняли просто его повышенной артистической нервностью, влиянием момента, грандиозным подъемом и невероятным напряжением

нервов на одну минуту. «Сделал, мол, но сделал, как в бреду, сам еще за пять минут до этого не зная, что сделает»...

Так было объяснено неожиданное пение Ф. Шаляпиным революционной «Дубинушки» в 1905 году.

Так было объяснено неожиданное коленопреклонение на сцене Мариинского театра перед государем в 1909 году.

Так будет, вероятно, объяснено и срывание погон со своего офицерского мундира.

Нет, позвольте! Случай с погонами – и именно случай с погонами – наводит на самые категорические подозрения: не были ли все три поступка поступками, строго обдумантыми и заранее тщательно выношенными, не были ли все три поступка «экспромтами, приготовленными за неделю»?..

Вот мои соображения.

Многие, вероятно, знают, что когда происходит тяжелая процедура разжалования офицера, то ее казовую, самую эффективную сторону готовят заранее: где-нибудь в уголку подпарывают погоны и подпиливают посередине шпагу...

Понятно, для чего это делается: карающая власть, прочтя приговор, должна быстро и эффектно сорвать с виновного погоны и бросить их на пол; должна вынуть из ножен шпагу и, ударив ею слегка о колено, далеко отбросить обе половинки в разные стороны...

Предварительные приготовления делаются именно для того, чтобы не было смешного циркового, фарсового трюка, когда уцепился человек за крепко пришитые погоны – тя-

нет-потянет – оторвать не может. Нельзя же таскать за собою человека за погон, минут пять пыхтя и надсаживаясь, нельзя же возиться со шпагой десять минут, обливаясь потом, колотя ею о распухшее от усилий колено, наступая на нее ногой и приглашая для завершения усилий двух помощников из публики.

Шаляпин слишком хороший, учитывающий все эффекты, все театральные условности, все красивые места, актер: Шаляпин очень хорошо знает, что театральная портной, создавая мундир, создает его на десятки лет, и поэтому все части пригнаны очень крепко; портной, в свою очередь знает, что мундиру князя Гремина никогда не будет предстоять операция срывания погон; поэтому погоны пришиты на десятки лет, на совесть!

И поэтому я утверждаю, что эффектная операция срывания Шаляпиным погон не была экспромтна, не была следствием бурно налетевшего экстра-переживания...

Шаляпин никогда бы себе не позволил на сцене некрасивого пыхтения и возни с неподатливыми погонами.

Нет! В этом безумии было что-то методическое.

– Гаврила! – сказал за день до спектакля знаменитый бас своему портному. – Гаврила! Подпори на мне погоны в мундире Гремина!..

– Да зачем это вам, Федор Иванович?

– Не твое дело, братец! Тут, брат, высокая политика, а ты – гнида! Сделай так, чтоб на честном слове держались.

Но тогда – позвольте! Тогда и экспромтная история с «Дубинушкой» подмочена; тогда и казус с коленопреклонением очень мне подозрителен: да точно ли это бурные, неожиданные, сразу налетевшие шквалы?!

Не было ли так:

1905 год. Кабинет жандармского полковника...

Курьер докладывает:

– Господин Шаляпин хотят видеть!

– А-а... Проси, проси!.. Какому счастливому событию обязан удовольствием видеть вас, Федор Иванович?

– Да так... зашел просто поболтать, – сочным басом отвечает знаменитый певец. – Ну что, революцией все занимаетесь, крамолу ловите, хе-хе-хе?

– Да, хе-хе-хе! Приходится.

– Дело хорошее. Небось, все молодежь, все горячие головы?..

– Да... большей частью.

– Небось, все «Дубинушку» поют?

– Бывает.

– Что ж вы им за эту «Дубинушку»? Небось, в каталажку?

– Ну что вы! «Дубинушка» – дело у нас невинное... Ну сделаешь замечание, ну поставишь на вид...

– Только-то? Ну я пойду. Не буду мешать.

И в тот же день Шаляпин бодро, грозно, эффектно, с большим революционным подъемом спел «Дубинушку».

А окружающие объясняли: такая минута подошла, когда даже камни вопиют.

* * *

А в лето 1909 года позвал однажды Шаляпин своего портного, вероятно, того же самого Гаврилу, и сказал ему:

– Завтра к спектаклю нашей мне на колени штанов, которые будут на мне, нашей изнутри по ватной подушечке. Так, чтобы на самые колени приходилось!..

– Да ведь некрасиво, Федор Иванович... Выпучиваться будет.

– А ты не рассуждай. Политика, брат, дело высокое, а ты – кто? Смерд. Илот.

* * *

Такое мое мнение, что, когда Юденич войдет в Петроград, в первом ряду восторженного населения будет стоять Шаляпин и, сверкая чудесными очами, запоем сочным басом «Трехцветный флаг» Мирона Якобсона.

– Вот тебе и Шаляпин, – благоговейно скажут в толпе. – Не выдержало русское сердце – запел экспромтом что-то

очень хорошее!

А экспромт этот был задуман в тот самый день, когда Гаврила погоны подпарывал: Гаврила погоны подпарывал, а Ис-айка в этот самый момент по поручению своего патрона тихо пробирался через границу в зону расположения Добровольческой армии – за свеженьким экземпляром «Трехцветного флага».

* * *

Ах, широка, до чрезвычайности широка и разнообразна русская душа!

Многое может вместить в себя эта широкая русская душа...

И напоминает она мне знаменитую «плюшкинскую кучу». У Гоголя.

Помните? «Что именно находилось в кучке – решить было трудно, ибо пыли на ней было в таком изобилии, что руки всякого касавшегося становились похожими на перчатки; заметнее прочего высывались оттуда отломленный кусок деревянной лопаты и старая подошва сапога»...

Так и тут: все свалено в самом причудливом соприкосновении: царская жалованная табакерка с вензелем и короной, красная тряпка залитого кровью загрязненного флага, грамота на звание «солиста его величества», ноты «Интернационала» – и тут же заметно высывается краешек якобсонов-

ского «Трехцветного флага».

Мала куча – крыши нету!

Керенский (Первый портрет)

Человек со спокойной совестью

Существует прекрасное русское выражение:

– Со стыда готов сквозь землю провалиться.

Так вот: я знаю господина, который должен был бы беспрерывно, перманентно проваливаться со стыда сквозь землю.

Скажем так: встретил этот господин знакомого, взглянул ему знакомый в глаза – и моментально провалился мой господин сквозь землю... Пронизал своей особой весь земной шар, вылетел на поверхность там где-нибудь, у антиподов, посмотрел ему встречный антипод в глаза – снова провалился сквозь землю мой господин и, таким образом, будь у моего господина хоть какой-нибудь стыд – он бы должен всю свою жизнь проваливаться, пронизывая собою вещество земного шара по всем направлениям...

Но нет стыда у моего господина, и никуда он ни разу не провалился; вместо этого пишет пышные статьи, иногда говорит пышные речи, живет себе на земной коре, как ни в чем не бывало, и со взглядами встречных перекрещивает свои взгляды, будто его хата совершенно с краю.

А ведь вдуматься – черт его знает, что взваливает жизнь

на плечи этого человека:

Умер поэт Блок – он виноват.

Расстреляли чекисты 61 человека – ученых и писателей – он виноват.

Умерли от голода 2 миллиона русских взрослых и миллион детей – он виноват в такой мере, как если бы сам передудшил всех и каждого своими руками.

Миллионы русских беженцев пухнут от голода, страдают от лишений, от унижений – он, он, он – все это сделал он.

Господи боже ты мой! Да доведись на меня такая огромная, нечеловеческая страшная ответственность, я отправился бы в знаменитый Уоллостонский парк, выбрал бы самое высокое в мире дерево, самую длинную в свете веревку, – да и повесился бы на самой верхушке, чтоб весь мир видел, как я страдаю от мук собственной совести.

А мой господин, как говорят хохлы: и байдуже!

Наверное, в тот момент, как я пишу, сидит где-нибудь в ресторанчике «Золотой Праги», кушает куриную котлетку с гарниром и, запивая ее темным, пенистым пражским пивом, не моргнув глазом, читает известия из России:

– До сих пор голод унес до трех миллионов русских. К декабрю должны умереть около десяти миллионов, а к марту, если не будет помощи извне – перемерет вся Россия. («Общее Дело». Письмо из Петербурга.)

Котлетку кушаете?

Приятного вам аппетита, Александр Федорыч! Неужели

не подавитесь вашей котлеткой?

Счастливым народ – эти люди без стыда, без совести... Невинностью дышит открытое лицо, ясные глазки просто-душно поглядывают на окружающих, и весь вид так и говорит:

– А что ж я? Я ничего. Вел я себя превосходно, был и главнокомандующим, и митрополитом, и если мне еще не поставили в России памятника, то это только потому, что нет пророка в отечестве своем...

Пока вы безмятежно кушаете котлетку, Александр Федорыч, позвольте мне ознакомить вас с вашим формуляром, и если хоть один прожеванный кусок застрянет в вашем горле, значит – есть еще бог в небе и совесть на земле...

* * *

Знаете ли вы, с какого момента Россия пошла к гибели? С того самого, когда вы, глава России, приехали в министерство и подали курьеру руку.

Ах, как это глупо было и, – будь вы другой человек – как бы вам должно быть сейчас мучительно стыдно! Вы тогда думали, что курьер такой же человек, как вы. Совершенно верно: такой же. И глаза на месте, и кровообращение правильное. Но руки ему подавать не следовало, потому что дальше произошло вот что: в первый день вы ему, курьеру, протянули руку, во второй день уже он с вами поздоровался первый

(дескать, свой человек, чего с ним стесняться), а на третий день, когда вы сидели в кабинете за министерским столом, он без зова вошел вперевалку, уселся на край стола и, заку- рив сигарку, хлопнул вас по плечу:

– Ну, Сашка-канашка, что новенького?

Еще и тогда был неупущенный момент: дать ему по шее, сбросить со стола и крикнуть:

– Ты забываешься, каналья! П-шел вон! – Вы этого не сде- лали; наверное, хихикнули, прикурили от его папироски и ответили: – Да вот помаленьку спасаю Россию.

Ах, как стыдно! Ну на кой черт вы полезли со своим ру- копожатием к курьеру? Разве он оценил? Взобрался вам же на шею, гикнул и погнал вас вскачь не туда, куда бы вам хо- телось, а туда, где ему удобнее.

Не спорю, может быть, персонально этот курьер – обворо- жительно светский человек, но вы ведь не ему одному протя- нули руку для пожатия, а всей наглой, хамской части России.

Вскочил на вас хам, оседлал, как доброго скакуна, и по- гнал прямо на границу – встречать Ленина и Троцкого.

Не скажете ли вы, что в прибытии Ленина и Троцкого ви- новаты немцы? Голубчик вы мой! Да ведь они воевали с на- ми. Это было одно из средств войны. Так же они могли бы прислать и поезд с динамитом, с баллонами удушливого газа или с сотней бешеных собак.

А вы этих бешеных собак приняли с полковой музыкой и стали охранять так заботливо, как любящая нянька – ша-

ловливых детей.

Ну что я могу сказать немцам? Скажу: зачем вы прислали нам такую ошеломляющую дрянь?

А они мне ответят:

– Вольно же вам, дуракам, было принимать. Мы бы на вашем месте тут же на границе их и перевешали, вроде как бывает атака удушливых газов и контратака.

А вы? Обрадовались! Товарищи, мол, приехали! «Здравствуйте, я – ваша тетя! Говорите и делайте, что хотите, у нас свобода».

И еще один момент был упущен, помните, тогда, у Кшесинской? Одна рота верных солдат – и от всей этой сволочи и запаху бы не осталось. И никто не роптал бы – так бы и присохло.

А вы вместо этого стали гонять вашего министра Переверзева на поиски новой квартиры для Ленина и Троцкого.

Александр Федорович! Какая у вас завидная натура... Ведь одно это так стыдно, будто вас всепарадно на столичной площади высекли. А вы теперь, вместо Уоллостонского парка, котлетку кушаете, как гоголевский высеченный поручик когда-то ел пирожок.

Много есть людей, у которых ужасное прошлое, но ни одного я не знаю, у кого бы было такое стыдное прошлое, как у вас. Еще, я понимаю, если бы вы за это деньги получили, но ведь бесплатно!

У вас в руках был такой козырь, как восстание, когда озве-

ревшая толпа (я сам видел) разрывала большевиков на части – как вы ликвидировали это настроение? Вы, глава государства, запретили печатать документы, уличающие Ленина и Троцкого в получении от немцев денег! Троцкий сидит в тюрьме – вы его выпустили, Корнилов хотел спасти Россию – вы его погубили. Клялись умереть с демократией – удрали на автомобиле.

«Волю России» издаете? Куриные котлетки кушаете?

С таким-то прошлым?

Да ведь только два пути и существует: или самое высокое дерево Уоллостонского парка, или монашеский клубук, вериги и полная перемена имени и фамилии, чтобы в маленьком монастырьке не пахло и духом того человека, который так тщательно, заботливо и аккуратно погубил одну шестую часть земной суши, сгноил с голоду полтора ста миллионов хорошего народу, того самого, который в марте 1917 года выдал вам авансом огромные, прекрасные векселя.

Ловко вы обошлись с этими векселями!..

Ну прощайте. Приятного вам аппетита!

Керенский

(Второй портрет)

Добрый товарищ

Однажды мне снился сон... А, впрочем, к чему там жеманничать: никакого сна мне не снилось. Все было наяву, а на сон писатели обыкновенно сваливают потому, что это считается щегольским литературным приемом.

Дешевый прием, по-моему.

Итак, наяву произошло вот что:

* * *

Александр Керенский сел в вагон поезда, идущего из Парижа, намереваясь проехать всего четыре станции, и заговорился – проехал гораздо дальше.

Собственно, заговаривался он и прежде, но не с такими ужасными для него последствиями, как на этот раз.

А именно: когда он заканчивал перед столпившимися любопытными пассажирами свою одиннадцатую речь о величии будущей России, поезд вдруг остановился, и в вагон ввалилась толпа пограничников...

Ошибиться было невозможно: все они были увешаны ру-

жьями, револьверами, на груди у всех красовались красные звезды, а на звездах было написано черным по красному: «Р. С. Ф. С. Р.»...

Керенский даже икнул от неожиданности и зашатался от ужаса.

«Господи! – подумал он. – Ныне отпускаеши раба твоего... Отречемся от старого мира... Крестьянин ахнуть не успел, как на него медведь насел... Мелькнула шашка – раз и два – и покатила голова...»

– Товарищи! – проревел чей-то радостный голос. – Никак сам Керенский?! Важного карася поймали! Волоки его к самому к Троцкому – он за его, может, тыщу пайков отсыпет на рыло!

Повели.

* * *

Сколько времени прошло и как и по каким дорогам его вели – Керенский даже долгое время спустя не мог вспомнить.

Очнулся впервые он только тогда, когда охрана, топоча ногами, ввела его в приемную и сказала:

– Подожди тут. Сичас, брат, сам Троцкий выйдет.

– «Сам Троцкий»... – вздохнул Керенский. – Интересно, как он будет мучить меня?.. Наверное, папиросками будет жечь тело и запускать под ногти деревянные лучинки... А то

и просто застрелит, как собаку.

Дверь из кабинета быстро распахнулась. Керенский покоился одним глазом и увидел в одной руке Троцкого револьвер, в другой – широкий нож.

«Начнем, пожалуй», – вспомнились ему слова Ленского перед смертельной дуэлью.

Но, приглядевшись, он заметил, что не револьвер был в руке Троцкого, а портсигар, и не широкий нож в другой руке, а самого симпатичного вида безобидная коньячная бутылка.

«Сейчас ахнет бутылкой по голове», – подумал страдалец. – Господи! Кого я вижу! Саша, голубчик!! Какими судьбами?.. Пойдем ко мне в кабинет. Вот-то нечаянная радость! А мне как раз нынче всю ночь красный попугай снился! К чему бы это, думаю. Все клювиком меня за ухом щекотал. Ну, брат, разодолжил. Рад, очень рад тебя видеть. Как живешь? Папироску можно? Сигарку? А то, может, коньячку рюмочку трахнешь с дороги? Как дела? Да ты садись, чудак, – чего стоишь? А мы тебя, брат Саша, часто с Володей и Анатолием вспоминаем! Да-а... Хорошие времена были. Помнишь, как мы с Володькой с балкона Кшесинской мантифолии разводили... Подумать только – на четыре года моложе были. А помнишь, как ты – ах-ха-ха! – гонял министра Переверзева для анархистов помещение подыскивать? Да, брат Саша, много воды утекло.

«А он, однако же, не гордый, – совсем успокоившись, подумал Керенский словами гоголевского героя. – Обо всем

расспрашивает».

– Кстати, Саша! А я перед тобой в долгу.

– А что такое?

– Да за газету-то, что вы в Праге с Зензиновым выпускали... здорово поддержали, шельмецы.

Троцкий подошел к огромному железному шкафу, звякнул около него ключами и, обернувшись, спросил:

– Сколько?

– Чего сколько?

– Сколько я тебе за газетку должен?..

– Что ты, – смутился Керенский. – Мы... совершенно бесплатно.

– Да что ты?! Прямо первый раз слышу. А с нас, брат, всякий тянет, кому не лень. И «Дэйли-Геральд», и «Юманите», и всякая там рвань. Ну спасибо. Поддержал. Да у тебя чего вид такой нездоровый? Устал?

– Да с дороги, знаешь... Кхм!

– Ты береги здоровье, Саша. Оно пригодится. Хочешь, мы тебе профессора пришлем?.. Да! А ведь я тебя забыл, шельмеца, за самое главное поблагодарить!

– А что такое?

– Да за Врангеля. Если бы не твоя заграничная работишка – едва ли бы мы с ним справились. Ловко ты его угробил.

Троцкий снова подошел к тяжелому шкафу, снова мелодично звякнул ключами и обернулся:

– Сколько?

– Чего сколько?

– Да за Врангеля. Мы, брат, в долгу никогда не остаемся – всякий труд должен оплачиваться.

– Помилуй, – смутился снова Керенский. – Да я совершенно бесплатно.

– Черт вас знает, что вы за народ, – засмеялся Троцкий. – Не от мира сего. Я понимаю, если уж продавать что-нибудь – так гони за это монету, а продавать и ничего не получать – на это способны только круглые идио... идеологи! Гм... да. Вот мы тогда с Володей маханули у этого немчуры пятьдесят миллиончиков чистоганом, глазом не моргнул, каналья, – дал!

– А вы моргали? – пошутил Керенский.

– За нас, брат, другие наморгались достаточно. Да-а... Ну а мы, брат, так вот и живем, хлеб жуем. Воюем вот все. Кстати! А ведь я тебя за главное забыл поблагодарить – совсем из ума вон. Прямо, брат, ты золотой человек у нас, на руках тебя, канашку, носить бы надо!!

– За что?

– А за резолюцию об интервенции. То есть так кстати, так кстати...

И снова около кассы послышался мелодичный звон ключей:

– Сколько?

– Лева, ты меня обижаешь...

– Ну не буду, не буду. Надеюсь, ты поживешь у нас, пого-

стишь, осмотришься?

«Это, однако же, хорошо, – подумал Керенский, – оставят они меня у себя, а я возьму и покажусь населению. Сейчас же меня подхватят на руки, устроят восстание, свергнут советы, народ выберет меня...»

– Право, поживи. Ты не бойся, мы тебе охрану дадим – сотню красных башкир...

– От кого охрану? – удивился Керенский.

– Как от кого? От населения. Я ведь ихнее настроение знаю: увидят тебя – в клочья! И пуговицы потом не отыщешь.

– Нет, лучше я назад, за границу поеду, – печально сказал Керенский.

– И то поезжай. Там ты гораздо больше пользы принесешь, чем здесь. А знаешь, что мы сделаем? Мы тебя за границу в plombированном вагоне отошлем. Ха-ха-ха! Вот будет штука! Они тогда нас, а мы им теперь тебя. Работай, голубчик, работай, не покладая рук!! А если там понадобятся деньжата или что...

– Лева, ты меня оскорбляешь. Я разве из-за денег? Я единственно из-за чистоты партийной программы...

– Впрочем, нам один черт – из-за денег ли, из-за чистоты ли... Еще дешевле! Ну, всех тебе благ! Зензинова от меня чмокни в щечку, Лебедеву кланяйся... Эй, кто там есть! Вагон товарищу Керенскому! Да запломбируйте его покрепче, чтобы по дороге никакая дрянь его не обидела... да ковров

ему положите, чтобы помягче было, да чтоб тепло ему было
– угля побольше, угля-то! Ну, трогай! Эх вы, залетные!

Керенский (Третий портрет) Ряд волшебных изменений милого лица...

Однажды Александр Керенский сидел среди блестящего заграничного общества и блестяще говорил:

– Большевизм – это свирепый чугунный колосс на глиняных ногах! Подрубите ему ноги – и он рухнет. Мы, старые революционеры...

Мрачный чернобородый нахмуренный человек вдруг завожился в кресле и быстро перебил:

– Чего, чего?..

– Я говорю, что большевизм – это чугунный колосс на глинян...

– Нет, не это! А чего вы сказали: старый – чего?

– Я говорю, что я, как старый революционер...

– Это вы-то?

– Ну да, я, а то кто же?

– Послушайте... – вдруг совсем тихо, пониженным голосом и очень задушевно заговорил чернобородый. – Ну какой вы революционер? Как за копейку постоять. Разве такие революционеры бывают? Большевизм уже четвертый год, как

сел на шею России – а как вы с ним боролись? Палец о палец не ударили! Только и делали, что под ногами путались – сначала у Корнилова, потом у Деникина, у Колчака, а в конце концов – у Врангеля... «Мы, старые революционеры». Эх, вы! Молчали бы лучше!

– Однако, послушайте...

– Да чего там слушать! Четыре года слушаем вас, а говорите вы и пишете так, будто чешется у меня правая нога, а вы скребете левую.

– Слушайте, я не советовал бы со мной таким тоном...

– Действительно, стану я с вами тон подбирать! Цаца какая! «Старый революционер!» Нет, брат, если ты старый революционер – так не болтайся здесь, за границей, не путайся между ногами у занятых людей, а поезжай в Россию и устраивай там революцию... А то отсюда-то, брат, легко кукиши всем сучить...

Чернобородый был тверд, резок, даже груб, но говорил он таким тоном, что нужно было или трахнуть его кулаком по темени, или покрыть еще более твердым тоном, чем тот, которым говорил он.

Керенский выбрал второе:

– И поеду!

– Куда?

– А в Россию.

– Ой, заливаешь?

– Виноват, я вас не понимаю...

– Да чего там понимать. Я тебе, Саш, скажу так... (Чернобородый перешел определенно на «ты», и голос его потемнел, сделался нежным.) Я тебе, Саша, скажу вот что: ежели ты да действительно поедешь в Россию – первым ты для меня человеком будешь!

– И поеду. А ты что думаешь? Мои рабочие, чай, заждались меня! Вот-то кому заварю. Я понимаю, что им действительно настоящий вождь нужен; а без вождя они что? Поеду! Так что-то. И когда я приеду, большевики у меня ко всем чертям полетят! Вот уж теперь я церемониться не буду... Нет, брат! Сам-с-усам.

– Вот это по-нашему! Люблю парня за ухватку. А я, брат, с тобой вместе поеду. Со мной не пропадешь. Когда едем? Завтра?

– Ну уж ты тоже скажешь – завтра... Вот бороду отпущу – и поедем.

– И верно. Отпусти ее, Сашенька, бог с ней. Так едем, Саша? Ай, молодец!

Расцеловались.

* * *

Керенский сидел дома и никого не принимал:

– Дома барин?

– Так точно, дома. Только они заняты.

– Чем?

– А бороду отпускают.

– Послушай, голубчик, какое же это занятие – отпускать бороду? Ведь он может со мной говорить, а борода все равно в это время будет отпускаться.

– Все вы так говорите. Не приказано принимать – значит, не приказано.

* * *

Пароход вез Керенского и его нового чернобородого друга из Константинополя в Севастополь.

Оба – Керенский и Чернобородый – стояли, опершись о борт, и разговаривали.

Разговор был несколько односторонний, так как говорил только Керенский:

– Большевизм нужно раздавить одним могучим ударом. Когда я подниму своих рабочих и вообще весь сознательный пролетариат, они должны сразу накинуться на эту зловонную стоголовую гадину и сразу отсечь все сто голов. Только один натиск – но быстрый, как молния. И все эти воры и насильники треснут, как пустой орех.

– Гм... да, – согласился Чернобородый. – А вот и Севастополь виден.

– Уже?! Скоро. Интересно, удастся нам проскочить с фальшивыми паспортами или, не дай бог, задержат? Собственно, я того мнения, что большевизм в своем чистом виде

штука не плохая, и если бы его так не исказили люди, при-
сосавшиеся...

– Какая красивая бухта, – перебил Чернобородый.

– Что бухта! Вы возьмите, какая красота некоторые тези-
сы учения Карла Маркса... Я понимаю, почему коммунисты
считают Маркса своим Евангелием.

– Сторонись! Сходни ставят.

– Ах, уже сходни... Какое быстрое это морское дело. Я
теперь понимаю, почему матросы так много сделали для Ве-
ликой Русской Революции... Вообще, если буржуазия и раз-
давлена, то только благодаря мощной поддержке...

– Ну разговорились не вовремя! Тащите чемодан!

– Уже? Ах, какой красивый город! И какой порядок, чи-
стота. Вот, думаю, при Врангеле тут безобразие было... Во-
обще, эта контрреволюция...

* * *

Ехали на север поездом.

– Какая станция? – спросил Керенский дремлющего Чер-
нобородого.

– Мелитополь.

– Уже? Как скоро. Третий день всего едем – и уже Ме-
литополь. А раньше какое безобразие – чуть не 15 часов
нужно было тащиться. Нет, что касается порядка и системы,
то в большевизме есть хорошие семена. Конечно, я террора

не одобряю... и удушение печати не одобряю... А что рабочие стали хорошо работать – это нужно коммунистам отдать должное.

* * *

Ехали, ехали.

– Какая станция?

– Харьков.

– Уже? Да ведь только двадцать первый день едем. Мальчик, какая у тебя газета? Коммунистическая? То-то. А если бы была белогвардейская, я б тебе штанишки спустил и по спине похлопал – таково больно: не торгуй белогвардейщиной! Конечно, я террора не одобряю, но с печатью, по-моему, поступлено правильно. Действительно: если меня же, правителя в моей же стране, ругают – неужто я буду молчать? Нет, товарищи, нужно войти в положение Ленина и Троцкого!!! Им тоже не сладко бремя власти. Для народа только и взвалили себе на плечи.

– Тула!

– Тьфу ты, черт! Это не товаро-пассажирский, а какой-то поезд-молния, прости господи! Второй месяц всего едем, и уже Тула. А почему так быстро? Потому что рабочий народ в страхе божьем держат. Некоторые говорят: «Террор, террор!» А что такое террор – и сами не знают. Террор, да ежели с толком применять – так это первая штука. Я не спорю,

без толку не нужно... Меня, например, скажем – за что трогать? Никому я зла не делаю, советскую власть уважаю, давеча даже их во дворец Кшесинской пустил: живите, мне не жалко. Я такой человек. Я – добрый. Я знаю – коммунисты хорошие люди, тихие и хмельным не зашибают. Что это за станция, товарищ? Москва? А скажите, товарищ, как пройти на то место, где похоронены усопшие при исполнении обязанностей наши товарищи-коммунисты? Я хотел бы поклониться их святому праху.

Чернобородый почесал бороду, крякнул, сплюнул и, молча, как ошпаренный, выскочил из вагона.

Балтийский матрос

Жизнь и смерть

Шкляренки и Бондаря

До октябрьской революции образ балтийского матроса был ясен и прозрачен, как стекло...

Вот он:

«Боцманмат с «Авроры» Никита Шкляренко сдвинул на затылок шапку, выплюнул табачную жвачку, зашел в портовый кабак «Три якоря», хватил одним духом полпинты рому и, ахнув могучим кулаком между лопаток своего приятеля Егора Бондаря, пустился с ним посреди кабака в пляс, оглашая воздух боевой матросской песней».

Я очень любил этот бесхитростный образ. Давно любил. Еще с тех пор, как в юности прочел незабвенный стивенсоновский «Остров сокровищ».

Я очень любил эту цельную здоровую натуру – могучего, грубоватого и добродушного матроса, сожженного солнцем тропиков, пропитанного морскими запахами, широкоплечего, немного неуклюжего на суше, покачивающегося во время ходьбы увальня.

Революция совершенно преобразила эту цельную монолитную натуру.

Началось с простого: вдруг матрос совершенно забросил

свой корабль, перешел на сушу, вооружился ружьем, перепоясался пулеметной лентой и стал таскаться по всем подъездам, обыскивая и расстреливая.

В дальнейшем эволюция матроса пошла еще больше вглубь и вширь: некоторые неуклюже вскарабкались на коней и образовали совершенно неслыханную в природе «матросскую кавалерию»; кое-кто причалил к тихой пристани: устроился комиссаром в какой-нибудь Губчека; а большинство застряло в «Красном Питере» и образовало кадры новой аристократии.

Уже в 1918 году можно было видеть на улицах Петербурга эту изысканную публику, одетую в штаны до того широкие, что казалось, на ногах болтались две женских юбки; одетую в традиционные голландки, но с таким огромным декольте, на которое светские дамы никогда бы не осмелились.

Эти странные матросы были напудрены, крепко надушены; на грубых лапах виднелись явные следы безуспешного, но усиленного маникюра; на ногах – туфли с высокими каблуками и чуть ли не с лентами; на груди приколоты роза.

Так вырядился и выродился честный простой русский матрос.

Ясно, что на полпути он остановиться не мог: газеты сообщали, что в столичных театрах большинство публики – декольтированные матросы, напудренные, с подведенными глазами и накрашенными губами; на руках – браслеты, на груди – бриллиантовая брошка.

О, бывший могучий Никита Шкляренко, обвеянный всеми ветрами, согретый тропическим солнцем и пропитанный морским соленым запахом, – о, Никита Шкляренко! Отсюда даже вижу весь «трэн»³ твоей нынешней столичной жизни.

Не узнать тебя, о, Никита, выпивавшего одним духом полпинты крепчайшего рому и храбро вступавшего в бой хоть с полдюжиной задиристых коллег с английского угольщика.

Вот пришел ты со своим приятелем Егором Бондарем в Александрийский театр, с наигранной светской усталостью уселись вы оба на места в ложе и тут же стали вы оба разглядывать публику: Егорка Бондарь в перламутровый дамский бинокль, ты же, о Никишка Шкляренко, в лорнет.

Сощурили вы оба подрисованные глаза, сжали пренебрежительно покрашенные губы и, почесав могучей пятерней пышное свое декольте, – покачали в такт завитыми головами:

– Публика севодни – не охти чтобы какая.

На барьере вашей ложи стоит коробка шоколаду, и вы оба, отставив могучие, кривые от бывшей возни с канатами мизинцы, то и дело запускаете руку в коробку.

– Жарко! – говорит Шкляренко, утирая напудренный лоб. – А я веер дома забыл. Ах, знаешь, кстати, какую я брошку намедни видел у одного товарища! Прямо – с блюдце! Полгруды закрывает. Я на свое кольцо предлагал менку – не хочет, сволочь. А што говорить, что быдто теперь у воло-

³ Ход (*фр.* train), образ жизни (*фр.* train de vie).

сах диадемы уже стали носить. А что такое диадемы – я и не знаю: чи то в роде звезды, чи то, как на манер рога.

– Никишка, черт собачий, – нервно перебивает размечтавшегося друга Бондарь. – Ты опять Верой Виолетой надушился?! Головизна от него трещать начинает. Накарай меня господь – сейчас упаду в обморок.

– При чем тут моя Вера Виолета? Просто я говорил тебе – не затягивай так корсет! А ты зашпаклевался до отказа!

– Ладно там! Сотри-ка лучше с бакборта румяны: на самый глаз въехали.

– Это я спешил: понимаешь, какая теперь дрянь ажурный чулок пошел: как натянешь, так у коленки – хрясь! Напополам, к чертовой матери!

– Да... трудно теперь матросу по-настоящему одеться!.. Ни тебе кружева к панталонам, ни тебе шелковых завязок до туфель...

* * *

Тихо плещется у горячего песчаного берега далекий-далекий зеленый океан...

С жемчужным шорохом догоняет одна волна другую и шепчет ей:

– ...Однажды несколько лет тому назад, во время бури, долго носила я на своем хребте прекрасный русский корабль... Очень хотелось мне утянуть его на дно, но команда

корабля сражалась с бурей, как стая львов. Что это были за молодцы! И среди них два самых могучих отчаянно-храбрых льва – во время минуты затишья я подслушала имена их – то были: матрос Егор Бондарь и боцманмат Никита Шкляренко!..

Докатилась зеленая волна до берега, разлилась кружевом по желтому горячему песку и вздохнула в последний раз:

– Где-то теперь они?

Эх, зеленая кружевная океанская волна! Не знаешь ты, матушка, какие на свете чудеса бывают...

Хочешь, расскажу?

Вот лягу грудью на песок у самого того места, где ты, обесиленная зноем, растекаешься томным ленивым веером у самых моих губ и поведаю тебе окончание этой чудесной, диковинной, по-русскому, сказки.

* * *

Шли однажды по Невскому два декольтированных матроса в лаковых туфлях – Никита Шкляренко и Егор Бондарь... Беседовали о своих неоматросских делах.

– Говорят, что теперь самое модное – какой-то файф-оклок чертячий. А где его купить и на кое место нацепить – так никто и не знает.

И наткнулись они в этот момент на группу людей, окруживших кого-то.

– А ну расступись, шпана, – гордо сказал Егор Бондарь. – У чем тут дело?

– Мальчишка с голоду на мостовой помирает, вот тебе и дело.

Бондарь притих немного.

– Чего ж это он! Неужто есть так-таки совсем и нечего?

– Кому как, – ответил из группы едкий голос. – Которые с брошками на грудях, с лаком на лапах – те едят первый сорт. А настоящий народ шибко мрет.

– А что ж я, по-твоему, не настоящий народ? – обиделся Бондарь.

– Ты? Да ты бы в зеркало на себя поглядел. – Шкляренко обернулся на друга, поглядел на него новыми, свежими глазами и вдруг шумно расхохотался: – А ведь и верно – чучело с огорода.

– А ты себя-то видел?

Потом Шкляренко сделался серьезен.

– Скидывай брошку; отдай мальчишке! Скидывай усе. Айда на корабль – рожь мыть. Я им, сволочам, покажу ихний коммунизм! До чего довели, а? Простите, православные, а мы это усе по-новому справим!

И два друга, порывистые, темпераментные во всем – и в боях с матросами угольщика и в обсуждении диадем и фэйф-о-клоков – помчались, как вихрь.



Балтийский лед скован на диво. Крепок. Ему не трудно и целый полк выдержать.

А тут всего два человека.

Лежат на бескрайнем ледяном поле.

Раскинулись они по-богатырски: руки, ноги в стороны, головы закинута.

И оба голые до пояса. Это уж такой обычай матросский: при такой драке, которая должна быть последней, и голландку и тельник сбрасывают... Потом все равно не надо, а драться куда способней.

Лежат неразлучные благоприятели.

И у Никиты Шкляренко уже не румяна на щеке, а что-то потемнее и погуще.

И Бондарь украшен рубиновым знаком в том самом месте на груди, где раньше сверкала брошка.

Расплатились честно морячки и за румяна, и за брошки.

Поработали – отдыхают. Такой крепкий сон, что хоть сто склянок бей над ухом, и ухом не повернут. Потому стоят уже на другой вахте...

* * *

Волна выслушала, вздохнула и, пересчитав камушки, как старуха – четки, когда молится за близких покойников, откатилась, удовлетворенная, в океан.